Холодная весна в Провансе

Автор:
Дина Рубина

Холодная весна в Провансе

Дина Ильинична Рубина

«Нас обманывали – вместо абсента нам подсовывали анисовую водку.

Причем французы разводят ее водой, отчего она становится мутной, как кокосовое молоко, а запахом напоминает настойку алтея – да, ту самую аптечную «алтейку», которой нас поили в детстве от кашля. Между тем анисовая водка в чистом виде представляет собой пойло градусов пятидесяти пяти. Когда, в безуспешных поисках легендарного абсента, мой художник просил принести неразбавленный напиток, на него смотрели как на безумного русского пьяницу…»

Дина Рубина

Холодная весна в Провансе

1

Нас обманывали – вместо абсента нам подсовывали анисовую водку.

Причем французы разводят ее водой, отчего она становится мутной, как кокосовое молоко, а запахом напоминает настойку алтея – да, ту самую аптечную «алтейку», которой нас поили в детстве от кашля. Между тем

анисовая водка в чистом виде представляет собой пойло градусов пятидесяти пяти. Когда, в безуспешных поисках легендарного абсента, мой художник просил принести неразбавленный напиток, на него смотрели как на безумного русского пьяницу.

А в кабачки, бары и прочие питейные заведения мы заскакивали то и дело, чтобы укрыться от холодного весеннего дождя, который настигал и гнал, и гнал нас своей жесткой метлой по Лазурному Берегу и Провансу.

Вбегаешь так с залитой потоками улицы в теплую комнату тесного бара где-нибудь в Арле, на площади Ламартин, присаживаешься за стол, стуча зубами и заледенелыми костяшками пальцев, просишь абсента, – по-человечески: аб-сен-та! – а тебе приносят какую-то аптечную муть…

* * *

…Но в первый день нас еще морочила безмятежность Ниццы: обволакивающая нежность воздуха, прозрачность слабой листвы, пернатая зелень пальм, роскошь колониальных дворцов, лимонадная шипучесть бирюзовых волн с белым рваным пухом пены…

Протяженная Английская набережная – средоточие знаменитого курорта, променад, по которому в разные годы и века фланировали члены королевских и царских фамилий всех стран, блестящая знать, великие авантюристы, композиторы, художники, артисты, писатели, фокусники, шарлатаны, революционеры, террористы… – все мировые знаменитости, на перечисление имен которых потребовался бы не один час.

По Английской набережной разъезжает смешной туристический поезд с сахарно-белой трубой. Там и сям на металлических, будто специально выкрашенных в цвет здешней волны стульях сидят и смотрят на прописанное докторами море почтенные господа.

В огороженном загоне резвятся на горках роллеры.

Мы останавливаемся и долго не можем отвести взгляд от одного из них – светловолосого, лет пятнадцати, отчаянного и легкого: он взмывает по помосту,

переворачивается, поджав ноги, в воздухе и с оглушительным грохотом роликов обрушивается на деревянный наклонный помост, чтобы ухнуть вниз и вновь вознестись, зависнув на мгновение в полете.

Минут двадцать мы стояли и ловили взглядом этот момент, миг отрыва поджатых ног от взмывающей вертикально плоскости доски, – продолжение полета, винт вокруг собственного, торпедой сгруппированного тела, и – грохот приземления…

В этот, чуть ли не единственный во всей поездке, не то чтобы солнечный, но молочно-парной день с двумя синими прорехами в надорванной обертке весеннего неба, мы гуляли с утра в верхних кварталах Ниццы, среди безумной роскоши вилл за арабесками чугунных оград, будто нарисованных в воздухе рукой самого Матисса, среди кустов и деревьев, изобретательно подстриженных виртуозом садовником…

По окрестным холмам, между оливами, льющими по ветру серебро листвы, между черными обелисками кипарисов, кустами лиловой лаванды и темно-зеленого лавра была рассыпана белая Ницца – город миллионеров и мировой элиты.

Ниже спускалась Ницца торговая, цветная, желто-красная, испещренная пузатыми черными граффити, – Ницца переулков и площадей, ресторанов и баров, лавок и магазинов, прачечных, булочных и аптек, витрин, запечатанных на ночь бельмами глухих рифленых жалюзи, – Ницца рыночная, клошарная, иммигрантская, криминальная…

…После полудня спустились вниз, к площади, на которой медленно угасал воскресный рынок – сворачивались полосатые тенты, подметались пустые прилавки, и только рыбные ряды еще вяло шевелили хвостами и клешнями крабов и лобстеров.

Меня всегда завораживает живность морской утробы. И я медлила, в который раз прогуливаясь мимо наклонных, набитых колотым льдом жестяных поддонов, любуясь черно-зелеными мшистыми раковинами мидий и устриц, розовыми рогаликами креветок, непристойного цвета и вида лобстерами и серебряными

лентами невиданных рыб, вмерзших в синее крошево льда…

Я томилась без книг, которые обычно тщательно подбираю себе в дорогу – по тональности, по настроению, по краскам, – в зависимости от местности нашего пребывания. В поездку по Лазурному Берегу и Провансу я отложила давным-давно читанные и заглохшие в памяти «Сказки для Нинон» Золя и «Тартарен из Тараскона» Доде. И забыла книги дома на письменном столе. Перед сном в гостинице маялась, как наркоман в ломке, листала городской туристический справочник, забытую кем-то в фойе газету «Таймс»…

…Наконец Борису удалось уволочь меня из замороженного царства награбленных у Нептуна сокровищ, и часа полтора мы шлялись по Английской набережной, останавливаясь, облокачиваясь о железные поручни, глядя вниз, в колыхание волн, и пытаясь определить цвет воды в каждую следующую минуту. Сделать это было совершенно невозможно: цвет менялся не только от скорости движения облаков, от дуновения ветра, от направления волн, – но даже от наклона вашего тела на парапет набережной.

Я вспомнила, что читала где-то о редких водорослях и микроэлементах, окрашивающих воду здешнего побережья в этот, воспетый всеми, кому не лень, неповторимый цвет пронизанной солнцем лазури.

Борис заметил, что о цвете Средиземного моря замечательно писал Ван Гог в одном из своих писем, анализируя все составляющие неповторимого оттенка морской воды, в котором видел и фиолетовые, и серые, и оранжевые, и даже черные тона…

– А он мог связать два слова на бумаге? – лениво осведомилась я. – Он же был сумасшедшим…

В эту минуту мы услышали вой беспрестанно сигналящих машин. По дороге вдоль набережной приближался кортеж из семи или восьми автомобилей; первый был украшен свадебными лентами.

На дверцах машин со спущенными стеклами сидели, опасно высунувшись и размахивая флагами, молодые люди столь знакомой по нашим широтам внешности, что, даже если б из каждой машины не неслась заливистая

восточная песнь, усиленная динамиками до мощности полкового марша, мы бы узнали их и так. Кажется, даже неутомимые роллеры завязали в воздухе петли своего виртуозного бега в никуда…

Свадебный кортеж пронесся мимо оторопевшей оглушенной публики, и скрылся вдали, постепенно затихая… И еще минут пять казалось, что утонченная аристократическая Ницца со своими отелями-дворцами, кипарисами, раскидистыми пальмами и кустами разноплеменных роз испуганно отряхивается, приходя в себя.

– А что это за флаги у них? – спросила я.

– Если не ошибаюсь, алжирские, – отозвался Борис.

Но Ницца – небольшой город. Минут через двадцать издали вновь разнеслась, приближаясь и оглушая, жалоба любви; нестерпимо долбили воздух автомобильные гудки – свадебный кортеж пронесся мимо публики, вопя и гикая под сенью алжирских флагов.

– Давай уйдем отсюда, – предложил мой муж, когда свадьба унеслась и сгинула за гребнем горы.

– Они уехали…

– Они вернутся, – мрачно возразил он и оказался прав: дважды еще, распугивая туристов, проносилась обезумевшая свадьба вдоль Английской набережной в разных направлениях.

Это были тревожные дни, когда радио, газеты и телевидение доносили новости о поджогах синагог, об осквернении кладбищ, повсеместном нападении на частных лиц в городах Франции. Но эту поездку мы планировали так давно, так любовно выверяли маршрут, так мечтали о лазурной Ницце и солнечном Провансе, что решили ехать во что бы то ни стало. Издалека, уверяла я, слухи и события всегда кажутся более мрачными, чем вблизи.

Однако в день нашего приезда Ницца оказалась обклеенной листовками, извещающими о митинге в поддержку борьбы палестинского народа. И только в

глухом переулке старого города на одном из таких воззваний, нашлепнутом на железные жалюзи закрытой аптеки, мы увидели выкрик черным фломастером поперек листа: «Арафат – убийца!»

В день объявленной демонстрации в поддержку борьбы палестинцев мы поднялись в горы – там, на холмах Верхней Ниццы, ждали нас музеи: «Библейское послание» – Шагала, с монументальным мозаичным панно, витражным залом и огромными холстами на библейские темы, и – рукой подать вверх по холму – Дом-музей Матисса, ясного, светлого, счастливого художника, чей белый дом-лабиринт кажется освещенным одними лишь рисунками.

Долго потом стояли на балюстраде, с которой открывался вид на Ниццу – в солнечный день, наверно, ослепительный, сейчас залитый парафиновым светом набухшего, как фасолина в вате, солнца…

К обеду спустились вниз, зашли в маленький бар, один из многих в веренице баров, пиццерий, ресторанчиков и пабов, куда мы заскакивали посреди дня – выпить кофе. В его сумеречной глубине, еще более затемненной тентом снаружи, отблескивали бокалы над прилавком и в совсем уже интимной тьме за спиной бармена выстроились стеклянные цветные пузачи.

Мы взяли по чашке кофе, сели у окна, чтобы видеть булыжную мостовую взбегающей вверх улицы, внаклон стоящий на ней щербатый стол с двумя колченогими табуретами, и дом с витриной антикварного магазина, в которой так же косо стояла этажерка с пыльной бронзовой лампой.

Выравнивалась вся улица наклоном головы к левому уху.

Боря спросил абсента, и впервые тогда получил рюмку мутной жидкости, к которой стал подозрительно принюхиваться.

Отсюда было видно, как с противоположного тротуара к дверям забегаловки направился маленький бородатый бродяга с гитарой. За ним мельтешила белая лохматая собака на коротких лапах, сразу милая для нас, так как напомнила собственного пса.

Бродяга взял круассан, запаянный в целлофан, чашку кофе и, выйдя на улицу, уселся за наклонный стол. Надорвал пакет, и с медленным равнодушным упорством рудокопа стал проворачивать за морщинистой редковолосой щекой комок круассана, задумчиво скармливая кусочки псу, сидящему у ног.

Часам к четырем мы спустились к набережной…

На площади, где вчера все блистало рыбьей чешуей, мерцало во льду створками мидий, светилось зеленоватой бронзой молодых лимонов, где два выкрашенных в ликующее золото пухлощеких архангела из папье-маше трубили над рыбной лавкой в свои золотые трубы… – почти разбрелась толпа. Ах да, здесь же должен был проходить митинг! – вокруг было мусорно, валялись листовки, обрывки плакатов, обертки от мороженого.

Навстречу нам тесно сбившейся стайкой шли несколько девочек лет пятнадцати; когда они приблизились, мы увидели – и вдруг ослепли от бликующей серебряной фольги! – шестиконечные звезды, нашитые на их кофточки и платья.

И долго глядели вслед этой маленькой группе протеста, гадая, как родители не побоялись пустить школьниц на столь опасное гуляние гикающей, скандирующей, размахивающей отнюдь не французскими флагами мускулистой оравы…

…На скамейке неподалеку лежал бородатый клошар, внешне напоминавший безумный гибрид художника Поля Сезанна с оперным Черномором. Подперев голову рукой, томно, как одалиска, он приподнимал ногу в закатанных до колен рваных штанах и рассматривал свою грязную поцарапанную икру. И даже когда стал накрапывать дождь и порыв холодного ветра унес в море промасленный пакет с остатками его обеда, он остался лежать – невозмутимый, как Диоген, непричастный ни к великолепию музеев и дворцов Верхней Ниццы, ни к иммигрантским воззваниям в поддержку чьей-то там борьбы, ни к протесту учениц еврейской школы…

Неуютной и холодной задалась эта поездка…

* * *

Дождь преследовал нас и в Антибе – светлом, сливочно-кремовом городе. Шероховатая фактура желто-розовых стен здешних строений действительно напоминает завершающие нашлепки лопаткой мороженщика. Можно только вообразить себе, как все здесь напоено солнцем, когда оно раскаляет стену дома и румяные черепицы становятся похожи на хорошо прожаренные оладьи; когда полощется на морском бризе вывешенное за окна и на балконах белье, когда цветные паруса многочисленных яхт мелькают флажками в искрящейся сини. Когда наконец разглядывать дома и витрины вам не мешают зонты вездесущих туристов…

И все-таки дважды в тот день дождь давал нам передышку.

Выйдя из Музея Пикассо, мы сошли по истертым ступеням к набережной, туда, где мощная крепостная стена спускается прямо в море, где одинокий парусник бабочкой-капустницей присел на темном, цвета асфальта, горизонте – легкий, как на спичечном коробке. Сквозь частокол мачт в гавани береговая линия вылетала плавной дугой и вдали упиралась в зеленый холм с обугленной горбушкой старинного каменного форта.

Обнаружив, что дождь перестал долбить наш старый зонт, мы, торопясь, поднялись в город и пошли кружить по улицам. И вышли на площадь, где, огороженная лилипутским забором, плавно несла по кругу трех своих лошадок и двух верблюдов великолепная CARROUSEL AZUR.

Вся расписана картинками из жизни старого Антиба, она, несмотря на дневное время, была изнутри освещена гирляндами электрических лампочек, сияла свежей позолотой упряжи и султанов на лошадках, мерцала посеребренными кистями на седлах меж верблюжьими горбами, издали зазывала публику простодушной мелодией вальса, и все крутилась бесконечной юлой, передышки делая лишь для того, чтобы новая порция туристов расселась и с дурацкими шутками пустилась в шарманочный путь…

Несмотря на то и дело припускавший дождь, в галереях, под тентами, в хлипких палатках, под дощатыми навесами раскинулся и говорливо торговал на прилегающих к площади улицах и переулках блошиный рынок.

Тут продавали все: старую и новую одежду, антиквариат, просто склеенные на живульку надбитые старые вещи, грошовую бижутерию, деревянных африканских божков со сморщенными, как сушеная хурма, грудями, бронзовую утварь индийского пошиба, вязаные шарфы и шапки, очки-парики-брелоки, ароматические свечи, сомнительную парфюмерию всех знаменитых фирм, декоративную косметику самых причудливых расцветок, рогатые и шипастые причиндалы приверженцев новейших эзотерических сект… – ну, и все остальное, совершенно необходимое странствующему студенту или демобилизованной солдатке израильской армии…

Например, в одной из таких палаток, где торговали мексиканскими накидками, медными кувшинами и тарелками, часами и порнооткрытками, я увидела скальп – скукоженный скальп с жесткими черно-седыми волосами. Он был надет на деревяшку и напоминал головню. В такие моменты я впадаю в транс: начинаю представлять себе человека, с чьей головы этот скальп был содран. Кем он был? И почему спустя несколько десятилетий, если не веков, я стою здесь (черт меня занес в Антиб!) и разглядываю эти тусклые сухие пряди, предмет равнодушного торга…

– Насмотрелась? – Борис потянул меня за руку. – Сколько можно глазеть на это пыльное барахло?

Я послушно попятилась и чуть не оступилась: под ногами у меня на расстеленных газетах лежала надорванная, полная старых книг картонная коробка, из которой взгляд мгновенно выхватил знакомую яркую картинку на обложке – «Желтые подсолнухи в вазе», а затем уже и шрифт кириллицей: «Ван Гог. Письма»…

С возрастом я привыкла к таким вот якобы совпадениям, которые стряпают, незатейливо маскируя их под случайность, мои кураторы в департаменте небесных повинностей. А в юности, бывало, и поражалась, и ужасалась тому, как неустанно муштрует меня некий въедливый педагог, как плохо успеваю я по его наиточнейшим дисциплинам, сколько раз сдаю переэкзаменовки и с каким

бестолковым прилежанием зубрю и зубрю один и тот же параграф: «Осторожное продвижение в пространствах, смыслах и словах».

Вот и сейчас я покорно наклонилась и подняла книгу. Многие страницы слиплись – похоже, кто-то пил над ней кофе с изрядным количеством сахара. Раскрыла наугад, стала листать:

«Ищи только прекрасное, ищи в полную меру своих сил… Тео, мальчик, брат мой любимый… если ты когда-нибудь полюбишь, а тебе ответят: «Нет, нет, никогда» – ни за что не смиряйся!»

– У нас есть эта книга, – сказал Борис.

– Знаю… – Я помнила корешок этой книги на полке у него в мастерской. Саму книгу только не помнила совсем. Обернулась, рассеянно оглядывая цветастое барахло палатки – покрывала, юбки, кружевные салфетки, грошовую посуду. Интересно, как физически попала сюда книга на русском? Впрочем, это как раз пустяки, – при нынешнем-то коловращении языков и рас…

– Ту юро, мадам! – то ли мексиканец, то ли индеец – о, нынешняя Европа, коловращение языков и рас! – Он выставил два пальца характерным жестом палестинской улицы, втолковывая мне цену.

– Пошли, в самом деле…

– Ван юро, мадам! Хорошая книга…

– Слушай, – сказала я мужу, – все равно мне нужно ежедневно бегать глазами по строчкам, а я забыла книги дома. Может, возьмем – совсем не помню, что он там кому писал?

– А зачем тебе, он же был сумасшедшим! – мстительно напомнил мой художник. Вступился за бранжу.

Я опять полистала страницы наугад…

«Чувствую, что отец и мать инстинктивно (не скажу сознательно) думают обо мне: пустить меня в семью им так же страшно, как пустить в дом большого взъерошенного пса. Он наследит в комнатах мокрыми лапами. Он у всех будет вертеться под ногами. И онтак громко лает.Короче говоря, это – скверное животное… Кроме того, пес может взбеситься и укусить, а тогда уж придется звать полевого сторожа, чтобы тот пристрелил его…

Пес сожалеет только о том, что явился сюда, потому что там, в степи, ему было не так одиноко, как в этом доме… Визит пса был проявлением слабости…»

– Пойдем, купишь путеводитель по Провансу, – нетерпеливо окликнул Борис уже снаружи. Он томится в любых торговых палатах, будь то бутик на Елисейских Полях или навес уличной лавки. – По крайней мере, будешь знать, кто в кого здесь плюнул…

«…Если опустить подробности и говорить только о существенном, Тео, – то взъерошенный пес, которого я попытался изобразить тебе во вчерашнем письме, – это мой характер, а жизнь этого животного – моя жизнь…

Я вижу двух братьев, гуляющих по Гааге(я рассматриваю их как посторонних и не думаю ни о тебе, ни о себе).

Один говорит: «Я должен сохранить определенное положение, должен остаться на службе у фирмы; я не верю, что стану художником».

Другой говорит: «Я буду собакой; я чувствую, что в будущем сделаюсь, вероятно, еще уродливее и грубее; я предвижу, что уделом моим до некоторой степени будет нищета, но я стану художником».

Итак, один – определенное положение в фирме.

Другой – живопись и нищета…

Говорю тебе, я сознательно избираю участь собаки: я останусь псом, я буду нищим, я будухудожником,я хочу остатьсячеловеком– человеком среди природы».

…Я уже доставала деньги из кармана куртки. Мексиканец-индеец взял монету, бросил ее в круглую жестянку на прилавке, удовлетворенно повторил:

– Хорошая книга, мадам. Про цветы…

* * *

…В кафе, куда загнал нас очередной порыв холодного дождя, мы заняли столик в углу и по обыкновению долго препирались перед гарцующей от раздражения официанткой, водя пальцами по строчкам меню и выясняя друг у друга – что означает тот или иной соус. Дожидаясь, пока принесут спагетти, я вытянула из рюкзака том писем безумного художника и терпеливо принялась разлеплять грязные страницы…

«…Писал ли я уже тебе о шторме, который недавно видел? Море было желтоватым, особенно у берега; над горизонтом висела полоса света, а над нею масса громадных темных серых туч, и видно было, как из них полосой низвергается дождь. Ветер сметал в море пыль с белой тропинки в скалах и клонил к земле цветущие кусты боярышника и желтофиолей, которые растут на утесах…»

Официантка принесла спагетти и салат, поставила корзинку с булочками и бросила подозрительный взгляд на раскрытую книгу с запятнанными страницами.

– Ешь… – проговорил Борис.

– Погоди… здесь поразительные строки, настоящая живопись! – и стала читать вслух, не обращая внимания на брезгливую гримасу официантки:

– «В ту же ночь я смотрел на крыши домов, которые видны из окна моей комнаты, и на верхушки вязов, темневших в ночном небе. Над крышами – звезда, одна-единственная, но прекрасная, большая, приветливая. И я думал обо всех нас, и о своих уже ушедших годах, и о нашем доме, и во мне родилось чувство, вылившееся в таких словах: «Не дай мне стать сыном, которого стыдятся, и осени меня Своим благословением не потому, что я заслужил его, а ради моей матери…»

Это все – брату:

«Если бы ты стал художником, ты, наверное, многому бы удивился, в частности тому, что живопись и все связанное с нею – подлинно тяжелая работа с точки зрения физической; помимо умственного напряжения и душевных переживаний она требует от человека так много, что в настоящее время заниматься ею – все равно что принять участие в походе, сражении, войне…»

– …Ну, это из ранних писем… – заметил мой муж. – Тогда он был полон надежд, здоров, и ради покупки холста и красок мог голодать три дня – только трубка в зубах… Хотя к тому времени он уже многое перепробовал, – например, был проповедником, представляешь? – причем страстным, исступленным проповедником, – ничего не делал и не желал вполсилы… Бросил учебу в Амстердаме, поступил в миссионерскую школу, бросил и ее, подался в Боринаж, на угольные разработки, чтобы нести Евангелие шахтерам… Попробуй эту белую пасту, они туда что добавляют? Горчицу?

– Горчицу добавляют почти во все соусы и замазки… Ну и что там было с шахтерами?

– А там были – кошмарный рабский труд, эпидемии и ужас. Оттуда все эти его «Едоки картофеля», знаменитые «Башмаки», рисунки, где изможденные ткачи за старыми станками восемнадцатого века… Таким вот неистовым человеком был – всем сердцем отдавался каждому новому предназначению, которое сам себе выбирал… Когда жил в Боринаже, выходил какого-то старика-шахтера, снимал с себя последнюю одежду, отдавал беднякам… Его даже в полиции допрашивали – властям, конечно, все это казалось подозрительным. Знаешь, что полицейский написал в протоколе допроса? «Религиозное сумасшествие»…

– Похоже, так оно и было, – заметила я. В белую пасту, кроме горчицы, был добавлен чеснок и базилик. И что-то еще… жаль, что я не говорю по-французски…

– В каждом его письме – даже, когда он описывает пейзаж, – ощущаешь надлом и тревожность, будто он не доверяет миру и все время ждет от него унижений. Какое-то странное сиротство чувств при живых родителях, при большой семье…

– …и всегда – «мой мальчик» – брату.

– Да. Они были связаны друг с другом необъяснимой мистической связью. Тео ведь пережил его всего лишь на полгода и всю жизнь содержал, вытаскивал из разных бед-скандалов, помещал в психиатрические лечебницы…

– А что за диагноз, в сущности, ему ставили? Шизофрению? А почему ты не ешь эти черные штучки, они очень вкусные. Дай мне!

– Господи, что за манеры… Ты не на своей кухне! Ничего себе, утащила полтарелки! Тогда отдавай свой помидор!

(В любом кафе, ресторане, пиццерии у нас не обходится без ревнивой детдомовской перетряски порций.)

– Ну, что – диагноз, какая разница? – Он разрезал экспроприированный помидор. – Никто так и не поставил правильный диагноз. То ли паранойя, то ли маниакально-депрессивный психоз… Доктор Рей, что лечил его в Арле… – помнишь его портрет в Пушкинском?

– …такой желтолицый мужчина, похожий на японца? Мушкетерская бородка, фон – желто-зеленый, в огурцах… и застегнут на одну пуговицу.

– Типично женское описание картины. Ну, положим… Так вот, Рей считал, что у Ван Гога – острое эпилептическое расстройство… Понимаешь, его мучили галлюцинации, вызывали нестерпимые тоску и ужас. Он сам называл это очень точно: «страх перед жизнью»… Все-таки какая дрянная медицина была в то время! Сегодня прописали бы парню таблетки лития, или что там еще, и он глотал бы их и радовался каждому кузнечику… – Борис вздохнул, отломил кусок

хлеба. – Да разве не всех нас мучают те или иные галлюцинации? – спросил он, обводя рассеянным взглядом столики вокруг. – Ты почитаешь эти письма: он с юности был так несуразен, так беззащитен, жаждал тепла, любви, очень нуждался в любви, например всяких там родственников.

– Причем даже дальних, – заметила я, пробегая глазами по строчкам. – Вот, например:

«…здесь были К. М. и господин Терстех, в прошлую субботу они уехали обратно. Они, по-моему, слишком уж усердно посещали «Кристал-Паллас» и прочие места, где им нечего было делать. Могли бы, я полагаю, разок зайти и ко мне, посмотреть, как я живу…»

…Зачем ему надо было постоянно доказывать что-то этим кузенам и дядям? Все-таки в этом действительно есть нечто маниакальное…

– Сиротское! – упрямо повторил Борис. – Стремление сироты доказать, что он лучший сын.

– М-да… все это не назовешь душевным здоровьем. «Я надеюсь и верю, что я совсем не такой, каким на первый взгляд кажусь многим; дайте срок, и увидим…» То ли дело Пикассо, бык и тореадор в одном лице!

– Доедай, мы опоздаем на электричку. Вроде дождь поутих…

* * *

На другое утро автобусом выехали в Ванс.

Эту петлю в маршруте Борис заложил еще дома – ради капеллы «Четок» Матисса…

Опять с утра тяжело хлестал дождь, в его дрожащих потоках видны были из окон автобуса растущие вдоль дороги мокрые платаны, похожие на сошедшие с ума канделябры. Здесь их как-то калечат, мастерят из деревьев скульптуры: подрезают ветви, направляя их расти в разные стороны.

То и дело по склонам взбегали вверх и вдаль ряды причудливых карликов, распятых на крестовинах, – черные узлы знаменитых виноградников юга Франции.

На повороте к Сен-Поль-де-Вансу, где дорога ответвляется вверх, к доминиканскому монастырю на склоне, мелькнула близко к автобусу старуха-монахиня с детским личиком, в линялой синей кофте; беспомощно взмахнула рукой, то ли указывая кому-то дорогу, то ли пытаясь кого-то остановить…

Минут через пять автобус вырулил к игрушке-городку, свернутому кренделем на горе. Мы вышли и часа полтора упрямо взбирались под дождем по крутым ступеням – они то взбегали вверх, то уводили за круглый бок старой башни, то выкатывались к смотровой площадке, с которой открывался туманный от мелкой мороси вид на долину…

Грубый, темный от времени известняк старинных стен, огромные навесные фонари в ущельях улиц, глухо захлопнутые от дождя синие и зеленые ставни… Мы забредали в многочисленные галереи, рассчитанные исключительно на миллионеров. Со всех стен на нас смотрел Шагал – эскизы, литографии, офорты, – что неудивительно: он здесь жил и работал последние годы жизни, похоронен на местном уютном кладбище, игрушечном и, как и весь городок, тоже предназначенном для туристов.

Вконец промокли, устали и принялись искать какое-нибудь укрытие. Во всех ресторанах, кафе, пабах и забегаловках клубился паром от мокрой одежды загнанный дождем несчастный турист. Нагуляешься так, озябнешь и волей-неволей закажешь какого-нибудь, не запланированного походным бюджетом, цыпленка табака.

– Только не клади свою помойную книжку на эту ослепительную скатерть. – Мой муж слишком хорошо знает непобедимую мою привычку читать во время еды. – Нас выгонят, как рассадников заразы.

Но я уже воровато вытянула из рюкзака том писем Ван Гога, который накануне читала до поздней ночи. Он и вправду был затерт и непрезентабелен, как одежда самого художника при жизни.

«Я никогда не чувствовал себя свободно в хорошем костюме, мне и раньше было не по себе в красивом магазине… Но я совсем другой человек, когда работаю на вересковой пустоши или в дюнах. Тогда мое уродливое лицо и поношенный костюм прекрасно гармонируют с окружением, я чувствую себя самим собой и работаю с наслаждением… Шататься по верфям, узким переулкам и улицам, заходить в дома, порою даже в трактиры – не такое уж приятное времяпрепровождение, если ты не художник. Художнику же предпочтительнее торчать в самой грязной дыре, лишь бы там было что рисовать…»

– Как ты думаешь, бессмысленно просить здесь абсента?

– Ты с ума сошел. Оставь эту идею… Я читала, что абсент вообще давно запрещен к продаже, в нем обнаружили какие-то галлюциногенные ингредиенты. Именно потому все здешние твои коллеги сходили с ума и черт-те что малевали. А ты дождешься, что какой-нибудь бдительный официант позвонит в полицию.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/dina-rubina/holodnaya-vesna-v-provanse

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити